

Независимая газета

Новый шанс для безнадежного дела

Революционеры, диссиденты и демократы: круговорот протеста в России

2007-11-14 / Дмитрий Ефимович Фурман - доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН

Самодержавная Россия, последняя монархия в Европе, упорно не желавшая вводить Конституцию, естественно породила революционеров. Революционеры черпали вдохновение и отчасти поддержку на Западе. Но Запад с его в тот период еще достаточно куцыми демократиями и острыми социальными противоречиями не был для них идеалом. Они ориентировались не на западную реальность, а на возникавшие на Западе социально-критические и утопические идеологии. Они верили в «творческие силы русского народа», который, освободившись, обязательно построит общество, более свободное и прогрессивное, чем западные, и уже не русские будут завидовать Западу, а Запад – завидовать русским и брать с них пример.

И пусть о принципах организации и путях построения этого прекрасного общества революционеры вели бесконечные и ожесточенные споры, во имя достижения заветной цели они готовы были умирать и уж тем более убивать.

Наконец, революция пришла (причем, хотя революционеры боролись за ее скорейшее наступление, пришла во многом неожиданно), и одна из революционных фракций смогла захватить власть и приступить к осуществлению своих идеалов. То, что она создала, было тоталитарной советской системой, сначала уничтожившей много миллионов граждан России, а затем все более погружавшейся в сенильный маразм и дрему.

Разрушение монолита

Если самодержавие породило революционеров, то советская власть породила диссидентов, которых с оговорками можно считать функциональными эквивалентами революционеров. И те, и другие безоговорочно отрицали репрессивный недемократический строй, и не просто отрицали «про себя», но переводили это отрицание в действие. Но при этом диссиденты так же отличались от революционеров, как советская система отличалась от царской.

Советская система во многих аспектах, особенно в первую половину своей жизни, была даже более жестокой и репрессивной, чем царская. Но по сравнению с традиционализмом самодержавия она все же представляла собой и шаг вперед. В искаженной форме она все-таки утверждала некоторые современные ценности – развития, равенства, даже демократии. И диссидентская идеология по сравнению с идеологией революционеров представляла собой движение вперед, но такое же болезненное и искаженное, как сама советская власть по сравнению с самодержавием.

У диссидентов не было революционного утопизма и догматизма, которые лежали в основе кровавой истории ранней советской власти. Они не думали, что России суждено показать всему миру какой-то особо прекрасный строй, и лишь мечтали, чтобы она стала «нормальным» современным обществом. Их идеал лежал не столько впереди, в будущем, сколько в пространстве – на Западе, который к этому времени построил стабильные демократические общества и перестал поставлять утопические идеологии, вдохновлявшие революционеров. Диссиденты жили в тоталитарном обществе, порожденном уже победившей народной революцией, и не могли мечтать об еще одной такой же революции. Они с большой опаской относились к «творческим силам народа», которые уже продемонстрировали себя в 1917 году.

Но этот меньший утопизм диссидентского сознания имел и свои оборотные стороны. Диссиденты не стремились к революции, но у них и вообще не было никаких ясных идей (ни правильных, ни неправильных) о том, как советское общество может прийти к свободе и может ли оно прийти к ней вообще. Они ненавидели советскую систему, но она казалась им несокрушимым монолитом, и примерно за десять лет до падения коммунизма Солженицын пугал Запад, что СССР и коммунисты возьмут его «голыми руками», а Амальрик возлагал смутные надежды, смешанные со страхом, только на войну СССР с Китаем. «Живя не по лжи», диссиденты тем самым боролись с властью, но они не боролись за власть. У них не было утопизма своих предшественников, но их протест был на порядок более пассивный, индивидуальный и безнадежный, чем протест революционеров.

При этом и само «западничество» диссидентов имело, с точки зрения трансформации советского общества, свои негативные стороны. Как диссиденты относились к Западу лучше, чем революционеры, так и Запад относился к ним лучше, чем к революционерам. Запад «манил» к себе диссидентов, не видевших у себя в стране никаких общественных перспектив, но видевших для себя перспективы на Западе, и тем самым ослаблял трансформационный потенциал советского общества. Я иногда пытался вообразить, что бы было с Россией, если бы Ленин, переехав за границу, тут же получил престижную и с хорошим жалованьем кафедру в университете для чтения курсов лекций по темам: «Материализм и эмпириокритицизм» и «Развитие капитализма в России».

«Настоящих» диссидентов было немного, еще меньше, чем революционеров. Но как комплекс революционного сознания был у сотен тысяч, так комплекс диссидентского сознания, как это показала эпоха перестройки, был у миллионов. При этом люди, видевшие мир совершенно так же, как диссиденты, но предпочитавшие спокойную жизнь, достаток и карьеру, были везде – и в ЦК, и даже в КГБ, о чем настоящие диссиденты, естественно, не догадывались. Падение советской системы пришло еще более неожиданно для носителей диссидентского идеологического комплекса, чем падение самодержавия для революционеров, и в форме, которая для них была абсолютно не представима. Ситуация 1991 года, когда в стране шла борьба между сторонниками генерального секретаря ЦК КПСС, который выступал за постепенное движение к демократии и рынку, и

сторонниками недавнего члена Политбюро ЦК, выступавшего за немедленный разрыв с коммунистическим прошлым и максимально быстрый переход к обществу западного типа, причем большинство народа было на его стороне, не могла привидеться ни одному диссиденту ни в каком сне даже за пару лет до этого.

Постсоветское как советское

В 1991 году если не сами диссиденты (их было слишком мало, и многие уже прочно обосновались на Западе), то носители диссидентского сознания пришли к власти. И если результатом победы революционеров стала советская власть, то результатом победы диссидентов-демократов – современная путинская Россия. Как в 1917 году под лозунгами свободы и демократии мы стали строить советскую систему, во многих аспектах еще более репрессивную, чем царская, так в 1991 году мы стали создавать политическую систему, все более отчетливо приобретающую черты, аналогичные советской.

И опять-таки, как особенности сознания революционеров несли в себе отпечаток царского строя и были важнейшим фактором трансляции черт этого строя в созданную ими советскую систему, так особенности диссидентского сознания были обусловлены советской системой и способствовали трансляции ее черт в постсоветскую.

Это – и естественный, но слишком быстрый и легкий переход от чувства полной безысходности, порождавшегося тоталитарной системой, но, как выяснилось, совершенно не оправданного, к неумеренным и тоже не оправданным надеждам и ожиданиям. Этот переход, сочетающийся со страхом, что если ты упустишь непонятно откуда взявшуюся возможность, то уже навсегда – как будто, если не развалить СССР в 1991 году, он будет жить вечно, – заставлял спешить с разрушением старой системы, не думая о последствиях этого разрушения для народа и о том, что придет на смену разрушенному. Это (прежде всего, конечно, не у самих «настоящих» диссидентов, но у миллионов пассивных носителей диссидентского комплекса) – компенсация предшествующих пассивности и приспособленчества гиперактивностью и идеологическим ригоризмом и догматизмом – за запрет КПСС больше всего выступали бывшие члены КПСС, а главным антикоммунистическим идеологом стал бывший заведующий идеологическим отделом ЦК. Это и подмена борьбы с тоталитаризмом борьбой с ненавистной символикой тоталитарного прошлого, позволявшая незаметно для себя в новых одеждах это же прошлое восстановить – когда, например, с коммунистами боролись совершенно коммунистическими методами. И многое другое, что было естественным отражением тоталитарной советской системы в сознании «тоталитарно» отрицавших ее людей и что привело к тому, что чем более радикально менялась символика, форма, тем более возвращалась суть, содержание.

Сейчас для многих демократов, оказавшихся на обочине политической жизни и с ужасом видящих, что получилось, Путин начинает играть роль невесты откуда взявшегося носителя зла – примерно ту же, какую играл Сталин в сознании тех революционеров, которые ужасались, увидев, что получилось из советской власти. Но Путин – «законный» наследник 1991

года. Власть ему передал главный вождь «диссидентской революции», и сам второй президент был помощником одного из ее вождей, отца Ксении Собчак. Не Путин создал теперешнюю систему, а те, кто последовательно побеждал в 1991, 1993 и 1996 годах.

Сегодня постсоветская система приобрела законченные формы, даже в мелочах во многом повторяющие советские. Мы уже дошли до знатных ткачих, читающих по бумажке хвалебные речи о Путине на «историческом» съезде правящей партии, до доминирования в руководстве работников спецслужб, в том числе и тех, кто сам боролся с диссидентами в советском КГБ, и даже до борьбы Министерства культуры с новой формой чуждого народу искусства.

Но возвращение прошлого предполагает и возвращение такого имманентного этому прошлому элемента, как диссидентство. Если вновь появились «знатные ткачихи», то не может не быть и «отщепенцев» – «неодиссидентов».

Психология безысходности

«На новом витке спирали» все значительно «мягче», многие достижения эпохи перестройки остались с нами, очевидно, навсегда. И демократы, носители «неодиссидентского» сознания, сейчас могут собираться не на кухнях, а открыто, могут выезжать за границу и т.д. Более того, они могут даже как бы участвовать в политической жизни, вступая в бессильные, но легальные партии, продолжающие традиции демократической и западной диссидентской идеологии. Тем не менее во всей этой деятельности, в том числе и в деятельности этих партий, вновь и очень быстро проступают многие черты диссидентского идейно-психологического комплекса.

Как и у советских диссидентов, у демократов-«неодиссидентов» – сильнейшее чувство протеста и одновременно сильнейшее чувство безнадежности. И как у диссидентов, у них нет никакой стратегии перехода к демократии или своего прихода к власти. Их действия – скорее экспрессивные, чем целенаправленные. Максимум, о чем могут мечтать демократы, – это ценой невыносимых усилий попасть крохотным и бессильным меньшинством в бессильную Думу (а по тому, как демократические партии подбирают первые тройки в своих списках, создается впечатление, что даже об этом они всерьез не думают).

Неспособность объединиться – из этого же. Вступать в блоки и в неизбежные в блоках компромиссы имеет смысл, если перед тобой есть цель, которую можно ценой компромиссов достичь. Но когда такой цели не видно, то и компромиссы не нужны. Тогда лучше уж пойти на компромисс с властью, что хотя бы принесет какие-то жизненные блага.

В некоторых аспектах психологическое состояние «неодиссидентов» даже хуже диссидентского. Дело в том, что диссиденты все же могли списывать все беды на «катастрофу» 1917 года, которую можно было объяснять случайными факторами, колоссальной «неудачей» России. Как избавиться от коммунизма, никто не знал. Но можно было мечтать, что если каким-то чудом от него избавиться, все будет хорошо. И вот коммунизм пал, но все возвращается на круги своя. Значит, дело не в коммунизме и не в стечении обстоятельств, а в самой стране, обществе, народе. Такой народ и такая

страна – безнадежны, а значит, и положение демократов – безнадежно, и перспектива демократии – безнадежна.

И сейчас людей, в той или иной степени и форме представляющих «неодиссидентское» сознание, также на много порядков больше, чем посетителей демократических митингов и даже чем голосующих за демократические партии (зачем голосовать за партии, которые все равно ничего не могут), как раньше «полудиссидентов» и «диссидентов в душе» было на много порядков больше, чем настоящих диссидентов. И они также – везде. А по мере усиления маразма власти их будет становиться все больше.

Следующая попытка

Возрождение после эйфории перестроечного и раннеельцинского времени в новой форме диссидентского чувства бессилия – естественный процесс, необходимая составляющая уроков, которые можно извлечь из недавнего опыта. Действительно, дело не в коммунизме и, во всяком случае, не только в коммунизме, а в самих стране и народе. Действительно, путь к демократии в России – очень сложный и извилистый, и то, что для других – просто и естественно (самим выбирать свое правительство), дается нам мучительно и медленно. Но опыт конца 80-х и 90-х имеет и другую сторону, которая, по-моему, еще недостаточно осознается.

Во-первых, перестройка и события 1991 года показали, что советский строй, казавшийся несокрушимым, был на самом деле колоссом на глиняных ногах. И я не уверен, что мы стали принципиально лучше понимать и знать страну, чем мы понимали и знали ее в конце советской эпохи и в период перестройки. Очень вероятно, что новый шанс для перехода к демократии значительно ближе, чем кажется, и появиться он может так же неожиданно и в неожиданной форме, как этот шанс появился в перестройку. Вообще неожиданность конца, очевидно, имманентна системам с «безальтернативной властью» и заблокированными «обратными связями». Во-вторых, опыт прошлого показывает, что хотя народ, несомненно, не был готов к демократии, идеи демократии совсем не так уж были ему чужды. Большинство народа поддержало перестройку и, более того, в 1991 году проголосовало за принявшего диссидентскую идеологию Ельцина. И если после кошмара, который свалился на головы людей с победой демократов, люди стали голосовать за коммунистов, а затем полюбили Путина, это более чем естественно.

В-третьих, и это – самое важное, в поражении демократии важнейшую роль сыграли сами особенности сознания диссидентов-демократов, которые были необходимой составляющей всего нашего циклического процесса, как особенности сознания революционеров были важнейшим фактором восстановления в советской власти худших аспектов самодержавия. Но если особенности сознания демократов – важнейший детерминант развития, приведшего к теперешней системе, значит, изменение этого сознания – гарантия того, что следующая попытка перехода к демократии не будет иметь тех же результатов, что и две предыдущие.

Никто не может сказать, когда откроется новая возможность перехода к демократии и в какой форме это произойдет. Но не может быть ни малейшего сомнения, что она откроется, и практически несомненно, что это

произойдет в обозримое время (как ни своеобразен путь России, он не может быть таким своеобразным, чтобы в XXI веке цепь передающих друг другу власть президентов могла продлиться долго). Но самое важное – это даже не то, чтобы это произошло скорее, а чтобы открытие этой возможности не стало началом нового цикла, аналогичного предыдущим. В недемократической системе ее отрицание не может не нести в себе болезненные черты, порожденные этой системой. От них все равно никуда не денешься. И в какой-то мере они все равно будут выходить наружу. Но если ты знаешь о них, если ты разобрался со своим прошлым, ты можешь как-то остерегаться и контролировать себя.